

---

---

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

---

---

ЭСТЕТИКА  
И ЛИТЕРАТУРНАЯ  
КРИТИКА



МОСКВА  
«ИСКУССТВО»  
1984

**Вяземский П. А.**  
В 99 Эстетика и литературная критика /Сост., вступ.  
статья и коммент. Л. В. Дерюгиной.— М.: Искусство,  
1984.—458 с.—(История эстетики в памятниках и  
документах).

В сборник вошли литературно-критические и эстетические статьи и мемуарно-биографические очерки П. А. Вяземского /1792—1878/, главы из его монографии о Фонвизине, фрагменты из записных книжек и писем. Наибольшее внимание уделяется соотношению литературы и общественной жизни, национальному своеобразию литературы и искусства, борьбе литературных направлений первой половины XIX века. Большая часть материалов в советское время переиздается впервые.

• 0302060000-82  
В \_\_\_\_\_ 10-84  
025(01)-84

ББК 83.3Р1  
8Р1

бы иметь полное созерцание ее. К сожалению, на письме он никогда не только не проговаривается, но редко и договаривает. Конечно, и в недосказанном сказано много. Слова его не обильны, но полновесны. Как в разговоре, так и в письмах Карамзина отзывалась всегда увлекательная, теплая, задушевная речь. Философия и поэтическая живость его истекали из одного свежего, светлого и глубокого источника, а источник сей был душа, исполненная любви к братьям и неувядаемой молодости впечатлений, восприимчивости и чувства.

Можно сказать по совести и по убеждению, что едва ли был где-нибудь и когда-нибудь человек его благосклоннее и благодуще. В знаниях, в полноте и блеске умственной деятельности имел он совместников и соперников, мог и должен был иметь и победителей. Но по душе чистой и благолюбивой был он, без сомнения, одним из достойнейших представителей человечества, если, к сожалению, не того, как оно вообще в действительности, то человечества, каким оно должно быть по призванию Провидения.

В других творениях его высшее место занимает писатель, в письмах высшее место принадлежит человеку. Вообще о дарованиях писателей, о степени превосходства и заслуг, оказанных ими делу мысли и слова, может еще быть некоторое разногласие вследствие личных воззрений, понятий, а часто и предубеждений читателя. Вопреки известной поговорке скажем, что о вкусах спорить не только можно, но иногда и должно. Есть вкус изящный, есть и худой вкус; есть верный, есть и ложный; есть здравый вкус, есть и испорченный. Но о нравственном достоинстве человека спора быть не может. В письмах своих Карамзин, как в чистом и верном зеркале, изображается во всей своей ясности. Здесь не знавшие его лично могут ознакомиться с ним, а ознакомившись, не могут отказать ему в сочувствии, в любви и в глубоком уважении<sup>6</sup>.

---

## СТИХОТВОРЕНИЯ КАРАМЗИНА

---

В первых письмах Карамзина к Дмитриеву встречаются довольно часто стихи, так сказать, в дополнение и в подтверждение сказанному в

прозе. И заметим мимоходом, по большей части белые стихи. В молодости поэты-новички обыкновенно увлекаются прелестью рифмы, этой заманчивой игрушки. Впрочем, здесь можно отыскать разъяснение и оценку стихотворческого дарования Карамзина. Он был поэт по чувству, по краскам и нередко по содержанию стихотворений своих, но не по внешней отделке. Стихотворец в нем, так сказать, не по силам поэту. Он сам как будто сознавал это различие; в одном письме к Дмитриеву говорит он: *прости, мой любезный поэт и стихотворец*<sup>1</sup>. В другом своем, и справедливо, признавал он того и другого. Его же призвание было иное.

Пой Карамзин! И в прозе  
Глас слышен соловьи<sup>2</sup>,—

сказал ему Державин. У него был свой взгляд на стихи. Помню, как он однажды вошел в мою комнату и застал меня за чтением Бюргеровой баллады «Des Pfarrers Tochter».

Он взял у меня книгу из рук и напал на куплет:

Er kam in Mantel und Kappe verhummt,  
Er kam um die Mitternachtsstunde.  
Er schlich, umgürtet mit Waffen und Wehr,  
So leise, so lose, wie Nebel, einher  
Und stillte mit Brocken die Hunde<sup>3</sup>.

Прочитав это, сказал он: вот как надобно писать стихи. Можно подумать, что он держался известного выражения: «C'est beau comme de la prose»<sup>4</sup>.

Он требовал, чтобы все сказано было в обреш и с буквальной точностью.

Он давал простор вымыслу и чувству, но не выражению. В первой части «Онегина» особенно ценил он 35-ю строфу, в которой описывается петербургское утро с своим барабанным боем, с охтенкою, которая спешит с кувшином, с немецким хлебником, который

В бумажном колпаке не раз  
Уж отворял свой васисдас.

Он любил здесь и верность картины и трезвую верность выражения. Из Державина повторял он с особенным удовольствием то место в «Видении Мурзы», в котором поэт говорит, что луна

Сквозь окна дом мой освещала  
И палевым своим лучом  
Златые стекла рисовала  
На лаковом полу моем.

Часто вспоминал он следующие стихи Хераскова:

Как лебедь на водах Меандра  
Поет последню песнь свою,  
Так я монарха Александра  
На старости моей пою<sup>5</sup>.

Он даже в Сумарокове отыскал стих, который нравился ему точностью выражения<sup>6</sup>.

В нем не было лиризма. В прозе его, напротив, много движения и музыкальной певучести. Самые рифмы ему как-то неохотно поддавались.

Чинов и рифм он не искал,  
Но рифмы и чины к нему летели сами<sup>7</sup>,—

сказал он о Дмитриеве и мог завидовать в друге своем если не последним, о которых он не заботился, то первым, которые от него будто прятались. Было время, что он вовсе охолодел к поэзии или по крайней мере к выражению ее стихами, а именно в первые годы его исторического труда. Мне очень памятно это время. Я тогда утаивал от него стихи свои, как мальчишка утаивает проказы от строгого дядьки; так сильно напугал он меня своею холодностью и часто повторяемым приговором, что нет никого более жалкого и смешнее посредственного стихотворца. Только гораздо позднее, как видим из писем его к Дмитриеву, он умилялся даже и перед упорством ничем и никем невозмутимого графа Хвостова<sup>8</sup>. Тут и на мою долю выпал лучший жребий. Как-то случайно прочитав какие-то мои стихи, сказал он мне: теперь не стану отговаривать вас от стихотворства<sup>9</sup>. Это разрешение было для меня самою лестною похвалою. О ней отраднo вспомнить мне и ныне. Благодарное чувство мое да будет оправданием моему случайному самохвалению.

Если в последние годы жизни он опять несколько теплее обратился к стихам, то не мудрено найти тому причину в следующем обстоятельстве. В пребывание свое в Царском Селе он узнал Пушкина, тогдашнего питомца лицея; полюбил он его родительскою, но вместе с тем и строгою любовью. Развивающееся под глазами его дарование могло пробудить охолодевшее сочувствие. По выражению Дмитриева, он угадывал и верным своим взглядом угадал безошибочно

В отважном мальчике грядущего поэта<sup>10</sup>.

В одно и то же время он приязненнее и теснее сблизился и с Жуковским, которого также любил он

горячо и нежно, как младшего брата. Жуковский и Пушкин должны были примирить его с поэзией, разумеется, повторю опять, с тою, которая вырабатывается стихами, потому что к душевной поэзии, к поэзии мысли и чувства, он никогда не остывал. Говоря о поэтическом даровании Карамзина, постараемся проследить и оценить достоинство стихотворений его. Что ни говори и как о них ни суди, но в свою пору были они не без значения и не без самобытного достоинства. Припомним настроение лир Петрова, Хераскова, Державина, не говоря уже о их многочисленных и второстепенных подражателях. Вспомним их часто напряженный, надутый стих, совершенную, за исключением одного Державина, отвлеченность и безличность нашей поэзии до появления Карамзина. С ним родилась у нас поэзия чувства, любви к природе, нежных отливов мысли и впечатлений: словом сказать, поэзия внутренняя, задушевная. В ней впервые отразилась не одна внешняя обстановка, но в сердечной исповеди сказалось, что сердце чувствует, любит, таит и питает в себе. Из этого пока еще, согласен я, довольно скромного родника пролились и прозвучали позднее обильные потоки, которыми Жуковский, Батюшков, Пушкин оплодотворили нашу поэтическую почву. Любуясь величавою Волгою, воспетою питомцами ее Карамзиным и Дмитриевым в Симбирске<sup>11</sup>, почтим ее признательным приветом и там, где она еще, так сказать в младенчестве, струится тихо и смиренно. Если в Карамзине можно заметить некоторый недостаток в блестящих свойствах счастливого стихотворца, то он имел чувство и сознание новых поэтических форм. Преобразователь языка нашего, он не был рабски приписан к ямбу и другим узаконенным стопосложениям. Он первый и в стихотворный наш язык ввел новые приемы и соображения. Попытки его были удачны. Укажем на стихи к Дмитриеву:

Многие барды, лиру настроив, и проч.;

на «Кладбище»; на стихотворение «К прекрасной»<sup>12</sup>:

Где ты, прекрасная, где обитаешь?  
Там ли, где песни поет Филомела,  
Кроткая ночи певица,  
Сидя на миртовой ветви?  
.....

Там ли, где солнечный луч освещает  
Гор неприступных хребт разноцветный?

Нельзя мимоходом не полюбоваться красотою сего живописного стиха.

Глас твой божественный часто внимаю,  
 Часто сквозь облако образ твой вижу,  
 Руки к нему простираю,  
 Облако, воздух объеблю.

В этом стихотворении есть и свежесть древности, и предвестье оттенков и созвучий, которые позднее обозначат новейшую поэзию.

В стихотворении «Осень» встречаются те же предчувствие, те же первоначальные ноты, пробные, вступительные напевы, которые далее и далее, глубже и глубже разольются и будут господствовать в поэзии. Новейшая критика, проблематическая критика каких-то кабалистических сороковых годов, о которых проповедают нам послушники нового раскола, совершенно исключила имя Карамзина из списка поэтов наших<sup>13</sup>. В предположении, что многим будут новы старые песнопения, позволю себе представить несколько куплетов и из «Осени»:

Веют осенние ветры  
 В мрачной дубраве;  
 С шумом на землю валятся  
 Желтые листья.

Поздние гуси станицей  
 К югу стремятся,  
 Плавным полетом несяся  
 В горних пределах.

Вьются седые туманы  
 В тихой долине;  
 С дымом в деревне мешаясь,  
 К небу восходят.

Странник, стоящий на холме,  
 Взором унылым  
 Смотрит на бледную осень,  
 Томно вздыхая.

Странник печальный, утешься.  
*Вянет природа*  
 Только на малое время;  
 Все оживится,

Все обновится весною;  
 С гордой улыбкой  
 Снова природа восстанет  
 В брачной одежде.

*Смертный, ах, вянет навеки'*  
 Старец весною  
 Чувствует хладную зиму  
 Ветхия жизни<sup>14</sup>.

Читая эти стихи, можно ли догадаться, что они написаны за 80 лет тому? Не сдастся ли, что они писаны вчера и что найдешь под ними подпись Жуковского, Пушкина или Баратынского? Тут все верно: краски, точность выражения и музыкальный ритм. В философических стихотворениях Карамзин также заговорил новым и образцовым языком. В них свободно выражается мысль. Прочтите, например, послания его к *Дмитриеву* и *Плещееву*<sup>15</sup>.

Вот как кончается первое из двух:

В ком дух и совесть без пятна,  
Тот с тихим чувством встречает  
Златую Фебову стрелу\*,  
И ангел мира освещает  
Пред ним густую смерти мглу  
Там, там, за синим океаном,  
Вдали, в мерцании багряном,  
Он зрит... но мы еще не зрим.

Здесь опять не слышится ли Жуковский с своею *синею далью* и с своим несколько мистическим направлением? Кстати упомянув о Жуковском, не забудем заметить, что первые русские баллады и *романцеры* были «Раиса» и «Граф Гваринос». А «Раиса», как родоначальница многочисленного потомства, дала случайно или пророчески имя и старшей из баллад Жуковского<sup>16</sup>.

Кронид вдали  
Бежал от глаз моих с Людмилой,—

говорит она пред тем, чтобы броситься в море.

Как много чувства и прелести в стихотворении «Берег»:

После бури и волненья,  
Всех опасностей пути,  
Мореходцам нет сомненья  
В пристань мирную войти.

Пусть она и неизвестна!  
Пусть ее на карте нет!  
Мысль, надежда им прелестна  
Там избавиться от бед.

Есть ли ж взором открывают  
На берегу друзей родных,  
О блаженство! восклицают  
И летят в объятья их.

Жизнь! ты море и волнение!  
Смерть! ты пристань и покой!  
Будет там соединенье  
Разлученных здесь волной.

Вижу, вижу... вы маните  
Нас к таинственным брегам!..  
Тени милые! храните  
Место подле вас друзьям!

Судя по приведенным отрывкам, не правда ли, что наши деды и отцы, и мы сами в молодости своей, не слишком грешили пред вкусом и поэзией, читая и перечитывая подобные стихотворения и затверживая их наизусть? Чтобы еще лучше понять наши впечатления, вспомните, что Карамзин явился в самый разгар поэзии Державина. Поэзия Державина была жаркий летний полдень. Все сияло, все горело ярким блеском. Много было очарования для воображения и глаз; но сердце оставалось в стороне. С Карамзиным наступила поэзия летнего сумрака. И здесь, как при ясном закате дня, тихая нега, свежее благоухание, те же умеренные краски в картинах. Поэзия утратила свой резкий и ослепительный блеск: в ней есть что-то более успокоивающее и чарующее глаза миловидными и разнообразными оттенками. Одним словом, меланхолия была до Карамзина чужда русской поэзии. А что ни говори новейшие реалисты и как ни блистательны некоторые их попытки, меланхолия есть одна из принадлежностей поэзии, потому что она одна из природных принадлежностей души человеческой.

Повторяя эти стихи, которые мне одному, а может быть, еще двум-трем человекам в России памятны, невольно призадумался. Невольно спрашиваешь себя: отчего у русских память так коротка? отчего зрение наше, по крайней мере в литературном отношении, о котором идет здесь речь, так устроено, что глаза наши видят только то, что у нас под рукою, а не имеют способности заглядывать ни в обратную, ни в предстоящую даль? Мы не умеем ни помнить, ни ожидать.

«У нас ничего общего с новым поколением быть не может,— говорил мне однажды покойный Клементий Россет, известный своим остроумием и неожиданною оригинальностью своих выходов.— Кого ни спросишь, никто не знает песни:

Всех цветочков боле  
Розу я любил<sup>17</sup>.

А в наше время все знали ее наизусть».

В этой шутке много и ко многому применимой истины.

Вот намек на отношения наши к минувшему. А вот намек на отношения к будущему. Однажды видел я в саду, как садовник срывал вишни с дерева. Я заметил ему, что он срывает зеленую вишню. «Ничего,—отвечал он мне,— другая и спелая».

Мы неспособны осаждать вопрос по стратегическим правилам и порядку и выжидать, чтобы он сдался. Мы все берем приступом. Удалось: хорошо! не удалось: мы к вопросу холодеем. Нам равно противны и долгая память и долгое желание. Отказываясь от опытности, которая следует за вчера, мы мало рассчитываем и на содействие завтрашнего дня. «День мой—век мой»: вот наша коренная поговорка и наш народный лозунг. С ним можем иногда претерпевать поражения; но с ним и одерживали мы на всех поприщах блестящие и многозначительные победы.

В нашем частном и народном воспитании ощутительная важная погрешность, а именно все более и более последовательный разрыв с прошедшим. Нам оно как будто в тягость или в стыд. Многие видят в этом хроническом недуге следствие крутого перелома, совершенного рукою Петра. Оно отчасти так, но отчасти и не так. Петр Великий, может быть, сразу и совершил перелом, потому что он был преимущественно русский по духу и по природе своей и потому что он знал свой народ. Он знал, что с ним ничего в долгий ящик откладывать нельзя. Для русского долгий ящик тот же гроб<sup>18</sup>. Нет, не реформа Петра Великого отучила нас от чтения русских книг. Ломоносов и писатели, за ним последовавшие, были истинными сынами Петровской реформы. Но что же? теперь и их не знают. Разве только в училищах ведут им для порядка счет по пальцам, как ассирийским царям. Реформа, которая низвергла наши старые авторитеты в литературе, не есть следствие петровской. Приписывать ей такое происхождение было бы для нее слишком почетно и лестно. Она даже не произведена литературными законными властями, а скорее тушинскими литературными самозванцами<sup>19</sup>.

Во Франции переворот или общий *низворот* 1789 и следующих годов был еще круче и разрушительнее. Но там, когда умы успокоились и отрезвились, когда буря утихла, нравы, обычаи и литературные авторитеты всплыли почти невредимо: встревоженные волны улеглись в прежнее свое ложе. Старая литература сохранила свою законную власть. Были после попытки, оказывались новые направления, затевались разные литературные ре-

волюции; но и поныне Расин еще не забыт. Франция посреди тревожной деятельности находит время читать своих новых авторов и перечитывать старых. Их изучают, судят, преподают молодым поколениям. У нас не только в обществе, но и в школах книги, подобно календарям, держатся только на известный срок. Для нас уже стар

И календарь осьмого года<sup>20</sup>,

отмеченный Пушкиным в «Онегине».

Всему этому есть многие причины; укажем на одну: на высокомерие наше, хотя мы и любим прославлять свое русское смирение. Мы так привыкли к чинам, что и в поколениях наших идет служебное производство. Молодежь ставит себя выше отцов, потому что она попала в высший разряд. Нет сомнения, что новое поколение пользуется выгодами и преимуществами, до которых отцы не дослужились. Сии преимущества, сии завоевания и победы времени, конечно, обращаются ему в пользу; но они не могут быть признаны достоинствами каждого лица в отдельности. Благодарите за них Провидение, но не гордитесь ими в унижение предков. Наш век изобрел железные дороги и паровозы. Прекрасно! но из этого следует ли, что каждый человек, который спокойно садится в вагон и перелетает в несколько часов обширное пространство, умнее того, который то же пространство переезжал в старину на долгих и в неуклюжей бричке, издерживая на этот переезд несколько суток?

Как мало у нас авторов и книг, а мы еще пренебрегаем и тем, что имеем! Литература первой четверти века нашего для многих уже не существует. Любопытство и внимание наше возбуждаются одними текущими произведениями. Книга хороша, пока листы ее отзываются свежестью и сыростью бумаги, только что вышедшей из-под печатного станка. Успеет она высохнуть, книга уже откладывается в сторону.

В отношении к минувшему зрение наше все более и более тупеет. Карамзина и Дмитриева видят уже немногие. Едва разглядывают самого Пушкина. Завтра глаз и до него не доберется. За каждым шагом нашим вперед оставляем мы за собою пустыню, тьму кромешную, тьму египетскую, да и только...